

Шарлотта Бронте

Джейн Эйр

Глава I

В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.

Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унижительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид.

Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.

Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.

– А что Бесси сказала? Что я сделала?

– Джейн, я не выношу придирок и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.

Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали.

Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира.

Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стенавший.

Затем я снова начинала просматривать книгу – это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой – мыса Линденеса – до Нордкапа разбросано множество островов:

...Где ледяного океана ширь Кипит у островов, нагих и диких, На дальнем севере; и низвергает волны Атлантика на мрачные Гебриды.

Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, – правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная

луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.

Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.

Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.

Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.

С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.

Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса – такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».

И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного – что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.

Дверь в маленькую столовую отворилась.

– Эй, ты, нюня! – раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.

– Куда, к чертям, она запропастилась? – продолжал он. – Лиззи! Джорджи! – позвал он сестер. – Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик... Экая гадина!

«Хорошо, что я задернула занавесы», – подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:

– Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.

Я тотчас вышла из своего уголка; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.

– Что тебе нужно? – спросила я с плохо разыгранным смирением.

– Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» – последовал ответ. – Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне, – и, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.

Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, – пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.

Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.

Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.

– Вот тебе за то, что ты надерзила маме, – сказал он, – и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!

Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.

– Что ты делала за шторой? – спросил он.

– Я читала.

– Покажи книжку.

Я взяла с окна книгу и принесла ему.

– Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подальше от окон и от зеркала.

Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.

– Противный, злой мальчишка! – крикнула я. – Ты – как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты – как римский император!

Я прочла «Историю Рима» Голдсмита^[1] и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.

– Что? Что? – закричал он. – Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше...

Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» – и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:

– Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!

– Этакая злоба у девочки!

И, наконец, приговор миссис Рид:

– Уведите ее в красную комнату и запирайте там.

Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.

Глава II

Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы: я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.

– Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная...

– Какой срам! Какой стыд! – кричала камеристка. – Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!

– Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?

– Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.

Тем временем они втоптали меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.

– Если вы не будете сидеть смирно, вас придется привязать, – сказала Бесси. – Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебелий ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.

– Не снимайте, я буду сидеть смирно! – воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.

– Ну, смотрите!.. – сказала Бесси.

Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.

– С ней никогда еще этого не было, – произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.

– Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.

Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обратясь ко мне:

– Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом.

Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, – с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:

– И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.

– Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, – добавила Бесси уже мягче. – Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.

– Кроме того, – добавила мисс Эббот, – Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас...

Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.

Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее – никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэд-холле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла – из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, застланной белоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле, у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым троном.

В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комод, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклęcia, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.

С тех пор, как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, – и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.

Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева – занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную

торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда, наконец, решилась сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже, чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фей, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.

Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.

Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг – все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица – желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей, а меня называют непослушной, упрямой и лгуньей, и так с утра и до ночи.

Голова у меня все еще болела от ушиба, из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня; а я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, – я вызвала всеобщее негодование.

«Ведь это же несправедливо, несправедливо!» – твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями, а проснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета: например, убежать из дома или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть, уморить себя голодом.

Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер! Как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце! И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба! Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой.

Я совершенно не подходила к Гейтсхэд-холлу. Я была там как бельмо на глазу, у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии ни к кому из них; к существу, так сказать, инородному для них, противоположному им по натуре и стремлениям; существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать; существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды? Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком – пусть даже одиноким и зависимым, – миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения.

В красной комнате начинало темнеть; был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки. Дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице, и ветер шумел в аллее за домом. Постепенно я вся закоченела, и мужество стало покидать меня. Обычное чувство приниженности, неуверенности в себе, растерянности и уныния

опустилось, как сырой туман, на уже перегоревшие угли моего гнева. Все уверяют, что я дурная... Может быть, так оно и есть; разве я сейчас не обдумывала, как уморить себя голодом? Ведь это же грех! А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами гейтсхэдской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид... Это дало невольный толчок моим мыслям, и я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его, но знала, что он мой единственный родственник – брат моей матери, что, когда я осталась сиротой, он взял меня к себе и в свои последние минуты потребовал от миссис Рид обещания, что она будет растить и воспитывать меня, как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание; она его и сдержала – в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку, существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связанное? Скорее миссис Рид тяготилась необходимостью соблюдать данное в такую минуту обещание: быть матерью чужому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться.

Мною овладела странная мысль: я не сомневалась в том, что, будь мистер Рид жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестящее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных; и мне пришло в голову: а что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы и постаралась сдержать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурное проявление моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавший утешить меня; как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы, столь утешительное, вызвало бы во мне – я это чувствовала – безграничный ужас. Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе?

Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч – вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилося, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась; всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги; ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот.

– Мисс Эйр, вы заболели? – спросила Бесси.

– Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась! – воскликнула Эббот.

– Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую! – закричала я.

– Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось? – снова спросила Бесси.

– О!.. Тут мелькнул какой-то свет, и мне показалось, что сейчас появится привидение! – Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня.

– Она нарочно подняла крик, – сказала Эббот презрительно, – и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!

– Что тут происходит? – властно спросил чей-то голос; по коридору шла миссис Рид, ленты на ее чепце развевались, платье угрожающе шуршало. – Эббот, Бесси! Я, кажется, приказала оставить Джейн Эйр в красной комнате, пока сама не приду за ней!

– Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, – просительно сказала Бесси.

– Пустите ее, – был единственный ответ. – Не держись за руки Бесси, – обратилась она ко мне. – Этим способом ты ничего не добьешься, можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях; мой долг доказать тебе, что подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час, да и тогда я выпущу тебя только

при условии полного послушания и спокойствия.

– О тетя! Сжальтесь! Простите! Я не могу выдержать этого... Накажите меня еще как-нибудь! Я умру, если...

– Молчи! Такая несдержанность отвратительна!

Я и в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой; она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью.

Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, которой надоели и мой непреодолимый страх, и мои рыдания, решительно втокнула меня обратно в красную комнату и без дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалилась. А вскоре после этого со мной, видимо, сделался припадок, и я потеряла сознание.

Глава III

Помню одно: очнулась я, как после страшного кошмара; передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды; волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении, – так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чьему-то плечу, и мне стало так хорошо...

Еще пять минут, и туман забытья окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала, что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной – всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь; на столе горела свеча; Бесси стояла в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин.

Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхэда, ни к родственникам миссис Рид. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было мне гораздо менее неприятно, чем было бы, например, присутствие Эббот), я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина; я знала его, это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболел кто-нибудь из слуг. Для себя и для своих детей она приглашала врача.

– Ну-ка, кто я? – спросил он.

Я назвала его и протянула ему руку; он взял ее, улыбаясь, и сказал:

– Ну, теперь мы будем понемножку поправляться.

Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще

несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился, к моему глубокому огорчению: я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати; но едва за ним закрылась дверь, как в комнате словно потемнело и сердце у меня упало, невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем.

– Может быть, вы теперь заснете, мисс? – спросила Бесси с необычайной мягкостью.

Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, как бы за этими словами не последовали более грубые.

– Постараюсь.

– Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь?

– Нет, спасибо, Бесси.

– Тогда я, пожалуй, лягу, уже первый час; но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится.

Какое небывалое внимание! Оно придало мне мужества, и я спросила:

– Бесси, что со мной случилось? Я больна?

– Вам стало плохо в красной комнате, наверно от плача; но теперь вы скоро поправитесь.

Затем Бесси ушла в каморку для горничных, находившуюся по соседству с детской. И я слышала, как она сказала:

– Сара, приходи ко мне спать в детскую; ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет!.. Как странно, что с ней случился этот припадок... Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет? Все-таки барыня была на этот раз чересчур строга к ней.

Она вернулась вместе с Сарой; они легли, но по крайней мере с полчаса еще шептались, прежде чем заснуть. Я уловила обрывки их разговора, из которых слишком хорошо поняла, о чем шла речь:

– Что-то в белом пронеслось мимо нее и исчезло... А за ним – громадная черная собака... Три громких удара в дверь... На кладбище горел свет, как раз над его могилой... – и так далее.

Наконец обе они заснули; свеча и камин погасли. Для меня часы этой бесконечной ночи проходили в томительной бессоннице. Ужас держал в одинаковом напряжении мой слух, зрение и мысль, – ужас, который ведом только детям.

Происшествие в красной комнате прошло для меня сравнительно благополучно, не вызвав никакой серьезной или продолжительной болезни, оно сопровождалось лишь потрясением нервной системы, следы которого остались до сих пор. Да, миссис Рид, сколькими душевными муками я обязана вам! Но мой долг простить вас, ибо вы не ведали, что творили: терзая все струны моего сердца, вы воображали, что только искореняете мои дурные наклонности.

На другой день, около полудня, я встала с постели, оделась и, закутанная в теплый платок, села у камина, чувствуя страшную слабость и разбитость, но гораздо мучительнее была невыразимая сердечная тоска, непрерывно вызывавшая на мои глаза тихие слезы; не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как ее нагоняла другая. Мои слезы лились, хотя я должна была бы чувствовать себя счастливой, ибо никого из Ридов не было дома. Все они уехали кататься в коляске со своей мамой. Эббот тоже не показывалась – она шила в соседней комнате, и только Бесси ходила туда и сюда, расставляла игрушки и прибирала в ящиках комода, время от времени обращая ко мне с непривычно ласковыми словами. Все это должно было бы казаться мне сущим раем, ведь я привыкла жить под угрозой вечных выговоров и понуканий. Однако мои нервы были сейчас в таком расстройстве, что никакая тишина не могла их успокоить, никакие удовольствия не могли приятно возбудить.

Бесси спустилась в кухню и принесла мне сладкий пирожок, он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз; эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение, я не раз просила, чтобы мне позволили поддержать ее в руках и рассмотреть подробнее, но до сих пор меня не удостоивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство. Тщетное

великодушие! Оно пришло слишком поздно, как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают! Есть пирожок я не стала, а яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими; я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не дать ли мне какую-нибудь книжку. Слово «книга» вызвало во мне мимолетное оживление, и я попросила принести из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала вновь и вновь с восхищением. Я была уверена, что там рассказывается о действительных происшествиях, и это повествование вызывало во мне более глубокий интерес, чем обычные волшебные сказки. Убедившись в том, что ни под листьями наперстянки и колокольчиков, ни под шляпками грибов, ни в тени старых, обвитых плющом ветхих стен мне эльфов не найти, я пришла к печальному выводу, что все они перекочевали из Англии в какую-нибудь дикую, неведомую страну, где кругом только густой девственный лес и где почти нет людей, – тогда как лилипуты и великаны действительно живут на земле; и я нисколько не сомневалась, что некогда мне удастся совершить дальнейшее путешествие и я увижу собственными глазами миниатюрные пашни, долины и деревья, крошечных человечков, коров, овец и птиц одного из этих царств, а также высокие, как лес, колосья, гигантских догов, чудовищных кошек и подобных башням мужчин и женщин другого царства. Но когда я теперь держала в руках любимую книгу и, перелистывая страницу за страницей, искала в ее удивительных картинках того очарования, которое раньше неизменно в них находила, – все казалось мне пугающе-мрачным. Великаны представлялись долговязыми чудищами, лилипуты – злыми и безобразными гномами, а сам Гулливер – унылым странником в неведомых и диких краях. Я захлопнула книгу, не решаясь читать дальше, и положила ее на стол рядом с нетронутым пирожком.

Бесси кончила вытирать пыль и прибирать комнату, вымыла руки и, открыв в комод ящичек, полный красивых шелковых и атласных лоскутков, принялась мастерить новую шляпку для куклы Джорджианы. При этом она запела:

В те дни, когда мы бродили С тобою, давным-давно...

Я часто слышала и раньше эту песню, и всегда она доставляла мне живейшее удовольствие; у Бесси был очень приятный голос – или так, по крайней мере, мне казалось. Но сейчас, хотя ее голос звучал так же приятно, мне чудилось в этой мелодии что-то невыразимо печальное.

Временами, поглощенная своей работой, она повторяла припев очень тихо, очень протяжно, и слова «давным-давно» звучали как заключительные слова погребального хорала. Потом она запела другую песню, еще более печальную:

Стерты до крови ноги, и плечи изныли, Долго шла я одна среди скал и болот. Белый месяц не светит, темно, как в могиле, На тропинке, где ночью сиротка бредет. Ах, зачем в эту даль меня люди послали, Где седые утесы, где тяжело идти! Люди злы, и лишь ангелы в кроткой печали Сироту берегут в одиноком пути. Тихо веет в лицо мне ночная прохлада, Нет ни облачка в небе, в звездах небосвод. Милосердие Бога – мой щит и ограда, Он надежду сиротке в пути подает. Если в глушь заведет огонек на трясине Или вдруг оступлюсь я на ветхом мосту, — И тогда мой Отец сироты не покинет, На груди у себя приютит сироту[2].

– Перестаньте, мисс Джейн, не плачьте, – сказала Бесси, допев песню до конца. Она с таким же успехом могла бы сказать огню «не гори», но разве могла она догадаться о том, какие страдания терзали мое сердце?

В то утро опять зашел мистер Ллойд.

– Уже встала? – воскликнул он, входя в детскую. – Ну, няня, как она себя чувствует?

Бесси ответила, что очень хорошо.

– Тогда ей следовало бы быть повеселее. Подите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн? Верно?

– Да, сэр, Джейн Эйр.

– Я вижу, что вы плакали, мисс Джейн Эйр. Не скажете ли вы мне – отчего? У вас что-нибудь болит?

– Нет, сэр.

– Она, верно, плакала оттого, что не могла поехать кататься с миссис Рид, – вмешалась Бесси.

– Ну уж нет! Она слишком большая для таких глупостей.

Я была того же мнения, и так как это несправедливое обвинение задело мою гордость, с живостью ответила:

– Я за всю мою жизнь ни разу еще не плакала о таких глупостях. Я терпеть не могу кататься! А плачу оттого, что я несчастна.

– Фу, какой стыд! – сказала Бесси.

Добрый аптекарь был, видимо, озадачен. Я стояла перед ним; он пристально смотрел на меня. У него были маленькие серые глазки, не очень блестящие, но я думаю, что теперь они показались бы мне весьма пронизательными; лицо у него было грубоватое, но добродушное. Он долго и обстоятельно рассматривал меня, затем сказал:

– Отчего ты вчера заболела?

– Она упала, – снова поспешила вмешаться Бесси.

– Упала! Ну вот, опять точно маленькая! Разве такие большие девочки падают? Ей ведь, должно быть, лет восемь или девять?

– Меня нарочно сшибли с ног, – резко сказала я, снова поддавшись чувству оскорбленной гордости, – но я не от этого заболела, – добавила я.

Мистер Ллойд взял понюшку табаку. Когда он снова стал засовывать в карман пиджака свою табакерку, громко зазвонил колокол, сзывающий слуг обедать; аптекарь было известно значение этого звона.

– Няня, это вас зовут, – сказал он, – можете идти вниз. А я тут сделаю мисс Джейн маленькое наставление, пока вы вернетесь.

Бесси охотно осталась бы, но ей пришлось уйти, так как слуги в Гейтсхэд-холле должны были точнейшим образом соблюдать время обеда и ужина.

– Значит, ты заболела не оттого, что упала? Так отчего же? – продолжал мистер Ллойд, когда Бесси ушла.

– Меня заперли в комнате, где живет привидение, а было уже темно.

Мистер Ллойд улыбнулся и вместе с тем нахмурился.

– Что? Привидение? Ну, ты, видно, еще совсем ребенок! Ты боишься привидений?

– Да, привидения мистера Рида я боюсь; он ведь умер в той комнате и там лежал... Ни Бесси и никто другой не войдут туда ночью без надобности. И это было жестоко – запереть меня там одну, в темноте! Так жестоко, что я этого, наверно, никогда не забуду.

– Глупости! И ты поэтому так огорчаешься? Разве ты и днем боишься?

– Нет, но ведь скоро опять наступит ночь. И потом я несчастна, очень несчастна, еще и по другим причинам.

– По каким же? Ты не можешь сказать мне хотя бы некоторые?

Как хотелось мне ответить на этот вопрос возможно полнее и откровеннее! Но мне трудно было найти подходящие слова, – дети способны испытывать сильные чувства, но не способны разбираться в них. А если даже частично и разбираются, то не умеют рассказать об этом. Однако я слишком боялась упустить этот первый и единственный случай облегчить свою печаль, поделившись ею, и, после смущенного молчания наконец выдавила из себя пусть и не полный, но правдивый ответ:

– Во-первых, у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.

– Но у тебя есть добрая тетя, кузен и кузины.

Снова последовало молчание; затем я уже совсем по-ребячьи выпалила:

– Но ведь это Джон Рид швырнул меня на пол, а тетя заперла меня в красной комнате!

Мистер Ллойд снова извлек свою табакерку.

– Разве тебе не нравится в Гейтсхэд-холле? – спросил он. – Разве ты не благодарна, что живешь в таком прекрасном доме?

– Это не мой родной дом, сэр, а Эббот говорит, что у прислуги больше прав жить здесь, чем у меня.

– Эх ты, дурочка! Неужели ты так глупа, что хотела бы уехать из такой великолепной усадьбы?

– Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда, но мне ни за что не уехать из Гейтсхэда, пока я не стану совсем взрослой.

– А может быть, и придется – кто знает! У тебя нет никакой родни, кроме миссис Рид?

– По-моему, нет, сэр.

– А со стороны отца?

– Не знаю. Я как-то спросила тетю Рид, и она сказала, что, может быть, у меня есть какие-нибудь бедные родственники по фамилии Эйр, но ей ничего о них не известно.

– А если бы такие оказались, ты бы хотела жить у них?

Я задумалась: бедность пугает даже взрослых, – тем более страшит она детей. Они не могут представить себе бедность трудовую, деятельную и честную; это слово вызывает в них лишь представление о лохмотьях, о скудной пище и потухшем очаге, о грубости и низких пороках; в моем представлении бедность была равна унижению.

– Нет, мне бы не хотелось жить у бедных, – ответила я.

– Даже если бы они были добры к тебе?

Я покачала головой. Я не могла понять, откуда у бедных возьмется доброта; и потом – усвоить их жаргон, перенять манеры, стать невоспитанной – словом, похожей на тех женщин, которых я часто видела возле их хибарок в деревне, когда они нянчили ребят или стирали белье, – нет, я была не способна на подобный героизм, чтобы купить свободу такой дорогой ценой.

– Но разве твои родственники так уж бедны? Они рабочие?

– Этого я не знаю. Тетя Рид говорит, что если у меня есть родственники, то, наверное, какие-нибудь попрошайки; а я не могу просить милостыню.

– А тебе хотелось бы поступить в школу?

Я снова задумалась; едва ли у меня было ясное представление о том, что такое школа. Бесси иногда говорила, что это такое место, где молодых барышень муштруют и где от них требуют особенно хороших манер и воспитанности. Джон Рид ненавидел школу и бранил своего учителя; но вкусы Джона Рида не были для меня законом, и если сведения Бесси о школьной дисциплине (она почерпнула их у молодых барышень, в семье которых жила до поступления в Гейтсхэд) несколько отпугивали меня, то ее рассказы о различных познаниях, приобретенных там теми же молодыми особами, казались мне, с другой стороны, весьма заманчивыми. Она восхищалась тем, как хорошо они рисовали всякие красивые пейзажи и цветы, как пели и играли на фортепиано, какие прелестные кошельки они вязали и как бойко читали французские книжки. Под влиянием ее рассказов во мне пробуждался дух соревнования. Кроме того, школа означала коренную перемену: с ней было связано далекое путешествие, полный разрыв с Гейтсхэдом, переход к новой жизни.

– В школу мне действительно хотелось бы поступить, – сказала я вслух.

– Ну, ну, кто знает, что может случиться, – сказал мистер Ллойд, вставая. – Девочке нужна перемена воздуха и места, – добавил он, обращаясь к самому себе, – нервы никуда не годятся.

Бесси вернулась; и в ту же минуту до нас донесся шум подъезжающего экипажа.

– Ваша барыня приехала, няня? – спросил мистер Ллойд. – Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.

Бесси предложила ему пройти в маленькую столовую и показала дорогу. На основании того, что последовало затем, я заключаю, что аптекарь отважился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу; и этот совет был, без сомнения, принят очень охотно, ибо когда я в один из ближайших вечеров лежала в постели, а Бесси и Эббот сидели тут же в детской и шили, Эббот, полагая, что я уже сплю, сказала Бесси, с которой они обсуждали этот вопрос:

– Миссис Рид, наверно, рада-радешенька отделаться от этой несносной, противной девчонки. И в самом деле, у нее вечно такой вид, точно она за

всеми подсматривает и что-то замышляет.

Очевидно, Эббот действительно считала меня чем-то вроде маленького Гая Фокса[3].

Тут же я впервые узнала из уст мисс Эббот, сообщившей об этом Бесси, что мой отец был бедным пастором; что мать моя вышла за него против воли родителей, считавших этот брак мезальянсом, и мой дедушка Рид настолько разгневался, что не завещал ей ни гроша; что через год после свадьбы отец заболел тифом, заразившись при посещении им бедняков в большом фабричном городе, где находился его приход; что моя мать, в свою очередь, заразилась от него и через месяц после его кончины последовала за ним в могилу.

Бесси, услышав этот рассказ, вздохнула и заметила:

– А ведь мисс Джейн тоже пожалеть надо, Эббот.

– Конечно, – ответила Эббот, – будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть такую противную маленькую жабу!

– Верно, немногие, – согласилась и Бесси. – Понятно, что красавица вроде мисс Джорджианы, попади она в такое же положение, гораздо больше располагала бы к себе.

– Да, да, я обожаю мисс Джорджиану! – воскликнула восторженная Эббот. – Душка! Такие длинные кудри и голубые глаза, такой прелестный румянец – будто накрашилась... А знаете, Бесси, я с удовольствием съела бы на ужин гренки с сыром.

– Я тоже, и с поджаренным луком. Пойдем-ка вниз.

И они ушли.

Глава IV

Из разговора с мистером Ллойдом и только что пересказанной беседы между Эббот и Бесси я почерпнула новую надежду; этого было достаточно, чтобы мне захотелось выздороветь; казалось, близится какая-то перемена; я хотела ее и молча выжидала. Однако дело затянулось; проходили дни и месяцы. Мое здоровье восстановилось, но я больше не слышала ни одного намека на то, что меня так занимало. Миссис Рид по временам окидывала меня суровым взглядом, но лишь изредка обращалась ко мне. Со времени моей болезни она еще решительнее провела границу между мной и собственными детьми: мне была отведена отдельная каморка, где я спала одна, обедала и завтракала я тоже в одиночестве и весь день проводила в детской, тогда как ее дети постоянно торчали в гостиной. Миссис Рид ни разу не обмолвилась ни единым словом относительно моего поступления в школу, и все-таки я была уверена, что она не станет долго терпеть меня под своей крышей: когда на меня падал ее взгляд, он больше чем когда-либо выражал глубокое и непреодолимое отвращение.

Элиза и Джорджиана, следуя полученному приказанию, старались разговаривать со мной как можно меньше; Джон, едва завидев меня, показывал мне язык и однажды сделал попытку снова помучитрывать меня; но так как я мгновенно накинулась на него, охваченная тем же чувством неудержимого гнева и негодования, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он счел за лучшее отступить и убежал, бормоча проклятия и крича, что я разбила ему нос. Я действительно ударила Джона кулаком по этой выступающей части лица со всей силой, на какую только была способна, и когда увидела, что этот удар, а может быть, мой взбешенный вид, произвел на него впечатление, – почувствовала сильнейшее желание воспользоваться и дальше достигнутым преимуществом; но он удрал под крылышко своей матери, и я услышала, как он плаксиво сочиняет ей какую-то историю относительно того, что эта гадкая Джейн Эйр набросилась на него, точно бешеная кошка. Мать строго прервала его:

– Не говори мне о ней, Джон; я запретила тебе связываться с ней. Она не заслуживает внимания. Я не хочу, чтобы ты или твои сестры разговаривали

с этой девчонкой.

Но тут я, перегнувшись через перила лестницы, вдруг неожиданно для себя крикнула:

– Это они недостойны разговаривать со мной!

Миссис Рид была женщиной довольно тучной, но, услышав это странное и дерзкое заявление, она вихрем взлетела по лестнице, втащила меня в детскую и, швырнув меня на кровать, весьма решительно приказала мне весь день не сходить с места и не раскрывать рта.

– А что бы сказал дядя Рид, если бы он был жив! – вырвалось у меня почти невольно. Во мне заговорило что-то, над чем я не имела власти.

– Что? – беззвучно прошептала миссис Рид, и в ее обычно столь холодных и спокойных серых глазах появился даже какой-то страх.

Она выпустила мое плечо и уставилась на меня, словно вопрошая, кто перед ней – ребенок или дьявол? Тогда я осмелела:

– Мой дядя Рид на небе, он видит все и знает, что вы думаете и делаете; и папа и мама – тоже: они знают, что вы меня запираете на целые дни и хотите моей смерти.

Миссис Рид быстро овладела собой; она изо всех сил принялась меня трясти, затем надавала пощечин и ушла, не промолвив ни слова. Это упущение навестала Бесси, – она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, какое когда-либо росло под чьей-нибудь крышей. Я готова была поверить ей, ибо понимала сама, что в моей груди бушуют только злые чувства.

Миновали ноябрь, декабрь, а также половина января. В Гейтсхэде, как всегда, весело отпраздновали Рождество и Новый год; на всех щедро сыпались подарки, миссис Рид давала обеды и вечера. Я была, разумеется, лишена всех этих развлечений: мое участие в них ограничивалось тем, что я ежедневно наблюдала, как наряжались Элиза и Джорджиана и как они затем отправлялись в гостиную, разодетые в кисейные платья с пунцовыми кушаками, распустив по плечам тщательно завитые локоны, а затем прислушивалась к звукам рояля и арфы, доносившимся снизу, к беготне

буфетчика и слуг, подававших угощение, к звону хрусталя и фарфора, к гулу голосов, вырывавшемуся из гостиной, когда открывались и закрывались двери. Устав от этого занятия, я покидала площадку лестницы и возвращалась в тихую и пустую детскую. Там мне хоть и бывало грустно, но я не чувствовала себя несчастной.

Говоря по правде, у меня не было ни малейшего желания очутиться среди гостей, так как эти гости редко обращали на меня внимание; и будь Бесси хоть немного приветливее и общительнее, я бы предпочла спокойно проводить вечера с нею, вместо того чтобы непрерывно находиться под грозным оком миссис Рид в комнате, полной незнакомых дам и мужчин. Но Бесси, одев своих барышень, обычно удалялась в более оживленную часть дома – в кухню или в комнату экономки – и прихватывала с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях до тех пор, пока не угасал огонь в камине, и испуганно озиралась, так как мне чудилось, что в полутемной комнате находится какой-то страшный призрак; и когда в камине оставалась только кучка рдеющей золы, я торопливо раздевалась, дергая изо всех сил шнурки и тесемки, и искала защиты от холода и мрака в своей кровати. Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь любить, и, за неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в привязанности к облезлой, дешевой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства. Я не могла уснуть, не завернув ее в широкие складки моей ночной сорочки; и когда она лежала рядом со мной, в тепле и под моей защитой, я была почти счастлива, считая, что должна быть счастлива и она.

Какими долгими казались мне часы, когда я ожидала разъезда гостей и шагов Бесси в коридоре; иногда она забегала в течение вечера – взять наперсток или ножницы или принести мне что-нибудь на ужин – булочку, пирожок с сыром, – и тогда она усаживалась на краю постели, пока я ела, а затем подтыкала под матрац края одеяла, а два раза даже поцеловала меня, говоря: «Спокойной ночи, мисс Джейн». Когда Бесси была так кротко настроена, она казалась мне лучшим, красивейшим и добрейшим созданием на свете; и я страстно желала, чтобы она всегда была приветливой и внимательной и никогда бы не толкала меня, не дразнила, не обвиняла в том, в чем я была неповинна, как это с ней часто случалось. Теперь мне кажется, что Бесси Ли была очень одарена от природы: она

делала все живо и ловко и к тому же обладала замечательным талантом рассказывать сказки, которые производили на меня огромное впечатление. Она была прехорошенькой, – если мои воспоминания о ее лице и фигуре не обманывают меня. В моей памяти встает стройная молодая женщина, черноволосая и темноглазая, с правильными чертами, со свежим, здоровым румянцем; но вся беда в том, что у нее был резкий и неуравновешенный характер и весьма смутные представления о беспристрастии и справедливости; но даже и такой я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхэд-холла.

Это произошло пятнадцатого января, около девяти часов утра. Бесси ушла вниз завтракать; моих кузин еще не позвали к столу. Элиза надевала шляпку и старое теплое пальто, собираясь идти кормить своих кур, – занятие, доставлявшее ей большое удовольствие. Когда они неслись, она с не меньшим удовольствием продавала яйца экономке и копила вырученные деньги. Элиза была страшная скареда и прирожденная коммерсантка. Это сказывалось не только в том, что она продавала яйца и цыплят, но и в том, как она торговалась с садовником из-за рассады и семян, – ибо миссис Рид приказала ему покупать у этой юной леди все, что произрастало на ее грядках и что она пожелала бы продать. Элиза же ничего бы не пожалела, лишь бы это сулило ей прибыль. Что касается денег, то она прятала их по всем углам, завертывая в тряпочки или бумажки; но когда часть ее сокровищ была случайно обнаружена горничной, Элиза, боясь, что пропадет все ее достояние, согласилась отдавать их на хранение матери, но притом, как настоящий ростовщик, – из пятидесяти-шестидесяти процентов. Эти проценты она брала каждые три месяца и аккуратно заносила свои расчеты в особую тетрадку.

Джорджиана сидела перед зеркалом на высоком стуле и причесывалась, вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья, – она нашла на чердаке полный ящик этих украшений. Я убирала свою постель, так как Бесси строжайше приказала мне сделать это до ее возвращения (она теперь нередко пользовалась мной как второй горничной: поручала мести пол, стирать пыль со стульев и тому подобное). Накрыв постель одеялом и сложив ночную сорочку, я подошла к подоконнику, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель, но краткое приказание Джорджианы оставить в покое ее игрушки (ибо крошечные стульчики и зеркальце, очаровательные тарелочки и чашечки принадлежали именно ей) остановило меня; и тогда от нечего делать я стала дышать на

морозные цветы, которыми было разукрашено окно, и, очистив таким образом маленькое местечко, заглянула в скованный суровым морозом сад, где все казалось недвижимым и мертвым.

Из окна был виден домик привратника и усыпанная гравием дорога; и как раз тогда, когда мне удалось расчистить достаточно широкий кружок среди затянувшей стекло серебристо-белой листвы, ворота распахнулись и во двор въехал экипаж. Я равнодушно следила за тем, как он приближался к подъезду: в Гейтсхэд часто приезжали экипажи, но ни один не привозил гостей, которые представляли бы интерес для меня. Экипаж остановился перед домом, раздался резкий звук колокольчика, гостя впустили. Все это меня совершенно не касалось, и мое праздное внимание вскоре было привлечено голодным снегирем, который, чирикавая, уселся на ветку голой шпалерной вишни у самой стены дома, неподалеку от окна. Остатки моего завтрака, состоявшие из хлеба и молока, еще были на столе, и, раскрошив булку, я принялась дергать форточку, чтобы высыпать крошки на карниз; но тут в детскую вбежала Бесси.

– Мисс Джейн, скорей снимайте передник! Что это вы делаете? Мыли вы руки и лицо сегодня?

Прежде чем ответить, я принялась дергать оконную раму, так как мне хотелось обеспечить птичке ее завтрак; наконец рама поддалась, я высыпала крошки – они упали частью на каменный карниз, частью на вишневую ветку – и, закрыв окно, ответила:

– Нет, Бесси, я только что кончила обметать пыль.

– Несносная девчонка! Неряха! А что вы сейчас делали? Зачем открывали окно?

Однако ответить мне не пришлось, ибо Бесси, видимо, слишком торопилась и, не слушая моих объяснений, потащила меня к умывальнику, беспощадно, хотя, к счастью, быстро, обработала мое лицо и руки водой, мылом и жестким полотенцем, пригладила волосы щеткой, сорвала с меня передник, вытолкала на площадку лестницы и приказала сойти вниз, так как меня ждут в столовой.

Мне очень хотелось спросить, кто ждет меня и там ли миссис Рид, но Бесси уже исчезла, захлопнув дверь. Я стала медленно спускаться. Вот уже почти

три месяца, как миссис Рид не приглашала меня вниз; моя жизнь протекала только в детской, поэтому столовая, зал и гостиная сделались для меня недостижимыми, и я не решалась в них вступить.

И вот я очутилась одна в пустом холле; я стояла перед дверью в гостиную, дрожа и робея. Какую жалкую трусишку сделал из меня в те дни страх перед незаслуженным наказанием! Я и в детскую боялась вернуться, и в гостиную не решалась войти; минут десять простояла я так, терзаясь сомнениями; резкий звонок к завтраку заставил меня решиться.

«Кто это мог вызвать меня, – недоумевала я, нажимая обеими руками на тугую ручку двери, не поддававшуюся моим усилиям. – Кого я сейчас увижу, кроме тети Рид? Мужчину или женщину?» Ручка, наконец, повернулась, дверь открылась, я вошла, низко присела и, подняв глаза, увидела черный столб: по крайней мере такое впечатление на меня произвела в первую минуту узкая, одетая в черное, прямая, как палка, фигура, стоявшая на ковре перед камином; угрюмое лицо напоминало высеченную из камня маску; она венчала эту колонну подобно капители.

Миссис Рид сидела на своем обычном месте у камина; она сделала мне знак. Я подошла, и она представила меня каменному незнакомцу, сказав:

– Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам.

Он – ибо это был мужчина – медленно повернул голову в мою сторону, его серые глаза, поблескивавшие из-под щетинистых бровей, вонзились в меня, и он строго сказал густым басом:

– Ростом она мала; сколько же ей лет?

– Десять лет.

– Так много? – недоверчиво отозвался он и продолжал еще несколько мгновений рассматривать меня, затем спросил: – Как тебя зовут, девочка?

– Джейн Эйр, сэр.

Пробормотав эти слова, я посмотрела на незнакомца; он показался мне очень высоким, – но ведь я сама была очень мала; черты лица у него были крупные и, так же как весь его облик, суровые и резкие.

– Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка?

Невозможно было ответить на этот вопрос утвердительно: все в маленьком мирке, в котором я жила, были обратного мнения. Я молчала. Миссис Рид ответила за меня выразительным покачиванием головы и добавила:

– Может быть, чем меньше об этом говорить, мистер Брокльхерст, тем лучше...

– Очень жаль. В таком случае нам с ней придется побеседовать. – Фигура его сломилась под прямым углом, он сел в кресло против миссис Рид.

– Поди сюда, – сказал он.

Я ступила на ковер перед камином; мистер Брокльхерст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было! Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы!

– Нет более прискорбного зрелища, чем непослушное дитя, – особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?

– Они пойдут в ад, – последовал мой быстрый, давно затверженный ответ.

– А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?

– Это яма, полная огня.

– А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?

– Нет, сэр.

– А что ты должна делать, чтобы избежать этого?

Ответ последовал не сразу; когда же он, наконец, прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое.

– Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть.

– А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет,

хорошую девочку; ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если Господь тебя призовет.

Не смея возражать ему, я уставилась на его огромные ноги, протянутые на ковре, и вздохнула, – мне хотелось бежать от него за тридевять земель.

– Я надеюсь, это вздох из глубины сердца и ты раскаиваешься, что была источником столько неприятностей для твоей дорогой благотельницы?

«Благотельница! Благотельница! – повторяла я про себя. – Все называют миссис Рид моей благотельницей. Если так, то благотельница – это что-то очень нехорошее».

– Ты молишься утром и вечером? – продолжал допрашивать меня мой мучитель.

– Да, сэр.

– Читаешь ты Библию?

– Иногда.

– С радостью? Ты любишь Библию?

– Я люблю Откровение, и книгу пророка Даниила, книгу Бытия, и книгу пророка Самуила, и про Иова, и про Иону...

– А псалмы? Я надеюсь, их ты любишь?

– Нет, сэр.

– Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов; и когда спросишь его, что он предпочитает – скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает: «Ну конечно, стих из псалма! Ведь псалмы поют ангелы! А я хочу уже здесь, на земле, быть маленьким ангелом». Тогда он получает два пряника за свое благочестие.

– Псалмы не интересные, – заметила я.

– Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его, дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое.

Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу:

– Мне кажется, мистер Брокльхерст, в письме, которое я написала вам три недели назад, я подчеркнула, что эта девочка обладает не совсем теми чертами характера и наклонностями, которых я могла бы желать. И если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы очень просила вас, пусть директриса и наставницы как можно строже следят за нею и борются с ее главным грехом – наклонностью к притворству и лжи. Я нарочно говорю об этом при тебе, Джейн, чтобы ты не вздумала вводить в заблуждение мистера Брокльхерста.

Недаром я боялась, недаром ненавидела миссис Рид! В ней жила постоянная потребность задевать мою гордость как можно чувствительнее! Никогда я не была счастлива в ее присутствии, – с какой бы точностью я ни выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравить и ту новую жизнь, которую она мне готовила; я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе; я видела, что мистер Брокльхерст уже считает меня лживым, упрямым ребенком. Но как я могла бороться против этой несправедливости?!

«Конечно, никак», – решила я, стараясь сдержать невольное рыдание и поспешно отирая несколько слезинок, говоривших о моем бессильном горе.

– Притворство – поистине весьма прискорбная черта в ребенке, – заявил мистер Брокльхерст. – Оно сродни лживости, а все лжецы будут ввергнуты в озеро, горящее пламенем и серой. Во всяком случае, миссис Рид, за ней установят надзор. Я поговорю с мисс Темпл и с наставницами.

– Я хотела бы, чтобы она была воспитана в соответствии со своим будущим положением, – продолжала моя благодетельница. – Пусть научится смиряться и быть полезной. Что касается каникул, то она, с вашего позволения, будет проводить их в Ловуде.

– Ваши решения, сударыня, в высшей степени разумны, – отозвался мистер Брокльхерст. – Смирение – это высшая христианская добродетель, она как нельзя лучше пристала воспитанницам Ловуда; поэтому я требую, чтобы ее развитию в детях уделялось особое внимание; я специально изучал вопрос, как успешнее смирять в них суетное чувство гордости, и совсем на днях мне пришлось получить приятное подтверждение достигнутых мною успехов: моя вторая дочь Августа посетила со своей мамой школу и, вернувшись домой, воскликнула: «Папочка, какие все девочки в Ловуде простые и смиренные – волосы зачесаны за уши, фартуки длинные-предлинные; а эти холщовые сумки поверх платья... совсем как дети бедняков. Они смотрели на нас с мамой во все глаза, – добавила моя дочка, – будто никогда не видели шелковых платьев».

– Мне очень приятно это слышать, – отозвалась миссис Рид. – Обыщи я всю Англию, я едва ли нашла бы более подходящую систему воспитания для такой девочки, как Джейн Эйр. Строгость, мой дорогой мистер Брокльхерст, – я стою за строгость решительно во всем!

– Непокколебимая строгость, сударыня, первая обязанность христианина. Что касается Ловуда, этому принципу подчинено все: неприхотливая пища, скромная одежда, строгий распорядок дня, закаляющий характер и приучающий к трудолюбию, – таков строй жизни этого дома и его обитателей.

– И это совершенно правильно, сэр. Значит, я могу быть спокойна, что девочку примут в Ловуд и там воспитают в соответствии с ее положением и видами на будущее!

– Конечно, сударыня! Мы поместим ее в этот вертоград избранных душ. И я надеюсь, что она будет благодарна за столь высокую привилегию.

– Итак, я пришлю ее возможно скорее, мистер Брокльхерст, потому что, уверяю вас, я жажду освободиться от ответственности, которая стала для меня в конце концов слишком обременительной.

– Конечно, конечно, сударыня! А теперь пожелаю вам доброго здоровья. Я возвращусь в Брокльхерст в течение ближайших двух недель: викарий, мой друг и благодетель, раньше ни за что не отпустит меня. Но я извещу мисс Темпл, чтобы она ожидала новую девочку. Таким образом, с приемом не будет никаких затруднений. До свидания!

– До свидания, мистер Брокльхерст! Передайте мой привет миссис Августе, и Теодоре, и мистеру Брокльхерсту, Броутону Брокльхерсту.

– Не премину, сударыня! Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребенка»; прочти ее с молитвой, особенно «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., дурной девочки, предавшейся пороку лжи и обмана».

С этими словами мистер Брокльхерст вручил мне тощую брошюрку, аккуратно вшитую в папку, и, позвонив, чтоб ему подали экипаж, уехал. Миссис Рид и я остались одни. Несколько минут прошло в молчании; она шила, а я наблюдала за ней. Ей могло быть тогда лет тридцать шесть, тридцать семь. Это была женщина крепкого сложения, с крутыми плечами и широкой костью, невысокая, полная, но не расплывшаяся: у нее было крупное лицо с тяжелой и сильно развитой нижней челюстью; лоб низкий, подбородок массивный и выступающий вперед, рот и нос довольно правильные; под светлыми бровями поблескивали глаза, в которых не отражалось сердечной доброты. Кожа у нее была смуглая и матовая; волосы почти льняные; сложение прочное и здоровье отличное, – она не ведала, что такое хворь. Миссис Рид была аккуратной и строгой хозяйкой; она крепко забрала в руки хозяйство и арендаторов, и только ее дети иногда выходили из повиновения и смеялись над ней. Она одевалась со вкусом и умела носить красивые туалеты с достоинством.

Сидя на низенькой скамеечке, в нескольких шагах от ее кресла, я внимательно рассматривала ее фигуру и черты лица. В руке я держала трактат о внезапной смерти лгуни, – эта история особенно рекомендовалась моему вниманию как весьма уместное для меня предостережение. То, что здесь сейчас произошло, – слова, сказанные миссис Рид мистеру Брокльхерсту, весь тон этого разговора, грубого и оскорбительного для меня – еще болезненно отдавалось в моей душе. Я вспоминала каждое слово с той же болью, с какой я слушала их, и во мне пробуждалось горячее желание отомстить.

Миссис Рид подняла голову; ее взгляд встретился с моим, пальцы перестали прилежно работать.

– Выйди из комнаты, возвращаясь в детскую, – последовал приказ.

Вероятно, мой взгляд или что-нибудь во мне показалось ей вызывающим, так как в ее словах звучало крайнее, хотя и затаенное раздражение. Я встала, сделала несколько шагов к двери, затем вернулась, прошла через всю комнату и приблизилась к ней вплотную.

Я должна была говорить: меня слишком безжалостно попирали, я должна была возмутиться. Но как? Чем я могла отплатить моему врагу, какими располагала средствами? Я собралась с духом и бросила ей в лицо:

– Я не лгунья! Будь я лгуньей, я бы сказала, что люблю вас; но я заявляю, что не люблю; я ненавижу вас больше всех на свете, даже больше, чем Джона Рида! А эту книгу о лгунье можете отдать своей дочке Джорджиане, – это она лжет, а не я!

Руки миссис Рид все еще празднично лежали на ее работе, она остановила на мне свой ледяной взор, замораживая меня.

– Надеюсь, ты кончила? – спросила она тоном, каким говорят со взрослым противником и каким не обращаются к ребенку.

Эти глаза, этот голос растравили во мне всю ту неприязнь, которую я к ней питала. Дрожь с головы до ног, охваченная неудержимым волнением, я продолжала:

– Я рада, что вы мне не родная тетя! Никогда больше, во всю мою жизнь, я не назову вас тетей! Я ни за что не приеду повидать вас, когда вырасту; и если кто-нибудь спросит меня, любила ли я вас и как вы обращались со мной, я скажу, что при одной мысли о вас все во мне переворачивается и что вы обращались со мной жестоко и несправедливо!

– Как ты смеешь это говорить, Джейн Эйр?

– Как я смею, миссис Рид? Как смею? Оттого, что это правда. Вы думаете, у меня никаких чувств нет и мне не нужна хоть капелька любви и ласки, – но вы ошибаетесь. Я не могу так жить; а вы не знаете, что такое жалость. Я

никогда не забуду, как вы втолкнули меня, втолкнули грубо и жестоко, в красную комнату и заперли там, – до самой смерти этого не забуду! А я чуть не умерла от ужаса, я задыхалась от слез, молила: «Сжальтесь, сжальтесь, тетя Рид! Сжальтесь!» И вы меня наказали так жестоко только потому, что ваш злой сын ударил меня ни за что, швырнул на пол. А теперь я всем, кто спросит о вас, буду рассказывать про это. Люди думают, что вы добрая женщина, но вы дурная, у вас злое сердце. Это вы лгунья!

Я еще не кончила, как моей душой начало овладевать странное, никогда не испытанное мною чувство освобождения и торжества. Словно распались незримые оковы и я, наконец, вырвалась на свободу. И это чувство появилось у меня не без основания: миссис Рид, видимо, испугалась, рукоделие соскользнуло с ее колен; она воздела руки, заерзала на стуле, и даже лицо ее исказилось, словно она вот-вот расплчется.

– Ты ошибаешься, Джейн! Что с тобой? Отчего ты так дрожишь? Хочешь выпить воды?

– Нет, миссис Рид.

– Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь, Джейн? Уверю тебя, я готова быть твоим другом.

– Нет, неправда. Вы сказали мистеру Брокльхерсту, что у меня скверный характер и что я лгунья; а я решительно всем в Ловуде расскажу, какая вы и как вы со мной поступили!

– Джейн, ты не понимаешь: недостатки детей нужно искоренять.

– Я не лгунья! – закричала я громко и исступленно.

– Но ты несдержанна, Джейн, согласись! А теперь возвращайся-ка в детскую, будь моей хорошей девочкой и приляг, отдохни...

– Я не ваша хорошая девочка; я не хочу прилечь. Отправьте меня в школу как можно скорее, миссис Рид, я здесь ни за что не останусь.

– Действительно, надо поскорее отослать ее в школу, – пробормотала миссис Рид; и, собрав рукоделие, она поспешно вышла из комнаты.

Я осталась одна на поле боя. Это была моя первая яростная битва и первая победа. Несколько мгновений я стояла неподвижно, наслаждаясь одиночеством победителя. Сначала я улыбалась, испытывая необычайный подъем, но эта жестокая радость угасла так же быстро, как и учащенное биение моего пульса. Ребенок не может вести борьбу со взрослыми, как вела я, не может дать волю своим безудержным порывам и не испытать после этого укоров совести и леденящего холода неизбежных сожалений. Степной курган, охваченный бушующим, всепожирающим пламенем, мог бы служить эмблемой моей души, когда я обвиняла миссис Рид и угрожала ей: та же степь, но черная, испепеленная, – вот образ моего душевного состояния, когда, после получасового размышления в тишине, я поняла, насколько безрассудно было мое поведение и как тяжело быть ненавидимой и ненавидеть.

Впервые я испытала сладость мести; пряным вином показалась она мне, согревающим и сладким, пока его пьешь, – но оставшийся после него терпкий металлический привкус вызывал во мне ощущение отравы. С какой охотой я бы попросила прощения у миссис Рид; но я знала – отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, – что она оттолкнула бы меня с удвоенным презрением и вновь пробудила бы в моем сердце бурные порывы гнева.

Мне хотелось бы отдаться чему-нибудь более благородному, чем яростные обличения, пробудить в своей душе более мягкие чувства, чем мрачное негодование. Я взяла книгу – это были арабские сказки, – уселась и сделала попытку углубиться в нее. Но я не понимала того, что читаю, мои мысли уносились далеко-далеко, и страницы, которые я обычно находила такими захватывающими, ничего не говорили моей душе. Тогда я открыла стеклянную дверь столовой. Кусты стояли совершенно неподвижно: угрюмый мороз, без солнца, без ветра, сковал весь сад. Набросив на голову и плечи подол платья, я решила пройтись в уединенной части парка; но меня не радовали ни тихие деревья, ни сосновые шишки, падавшие на дорогу, ни мертвые останки осени – бурые, блеклые листья, которые ветром смело в кучи и сковало морозом. Я прислонилась к калитке и взглянула на пустую луговину, где уже не паслись овцы и где невысокую траву побил мороз и выбелил иней. День был хмурый, тусклое серое небо нависло снеговыми тучами; падали редкие хлопья снега и ложились, не тая, на обледеневшую тропинку, на деревья и кусты. И вот я, несчастное дитя, глядела на все это и повторяла шепотом все вновь и вновь: «Что же мне

делать? Что же мне делать?»

И вдруг я услышала звонкий голос:

– Мисс Джейн! Где вы? Идите завтракать!

Я отлично знала, что это Бесси, но не тронулась с места; ее легкие шаги слышались на дорожке.

– Нехорошая девочка! – сказала она. – Отчего вы не идете, когда вас зовут?

После тех мыслей, которым я предавалась, присутствие Бесси обрадовало меня, хотя она, как обычно, была не в духе. Но после моего столкновения с миссис Рид и победы над ней мимолетный гнев моей няни мало меня трогал, и мне захотелось погреться в лучах ее молодой жизнерадостности. Я обвила ее шею руками и сказала:

– Не надо, Бесси, не браните меня.

Никогда еще я не позволяла себе такого простого и естественного порыва. Бесси сразу же растрогалась.

– Странная вы девочка, мисс Джейн, – сказала она, глядя на меня сверху вниз, – какой-то странный и дикий ребенок. Правда, что вас отдадут в школу?

Я кивнула.

– И вам не жалко будет расстаться с бедной Бесси?

– А какое Бесси до меня дело? Она вечно бранит меня.

– Потому что вы такая чудная, пугливая и застенчивая. Надо быть смелее.

– Зачем? Ведь тогда меня будут еще больше обижать.

– Глупости! Хотя вам и достается, это верно. Когда моя мать приходила на той неделе провести меня, она сказала мне: «Вот уж не хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих ребят очутился на месте этой девочки!» А теперь идем-ка домой, у меня для вас приятная новость.

– Уж будто, Бесси?

– Дитя! Что вы хотите сказать? Как печально вы смотрите на меня! Так слушайте же: миссис, молодые барышни и молодой барин уезжают после обеда в гости, так что вы будете пить чай со мной. Я скажу кухарке, чтобы она вам испекла сладкий пирожок, а потом вы поможете мне пересмотреть ваши вещи: скоро ведь придется укладывать ваш чемодан. Миссис хочет отправить вас из Гейтсхэда через день-два, и вы можете отобрать себе какие угодно игрушки – все, что вам понравится.

– Бесси, обещайте мне больше не бранить меня до моего отъезда!

– Да уж ладно! Но только будьте и вы славной девочкой и больше не бойтесь меня! Не вздрагивайте, как только я что-нибудь порезче скажу; это ужасно раздражает.

– Нет, я не буду бояться вас, Бесси, я к вам привыкла; скоро мне придется бояться совсем других людей.

– Если вы будете их бояться, они не станут любить вас.

– Как и вы, Бесси?

– Разве я не люблю вас, мисс? Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям!

– Что-то незаметно.

– Ведь вот вы какая хитрая! Вы совсем по-другому разговаривать стали, откуда у вас взялась такая смелость и задор?

– Что ж, мне скоро придется уехать отсюда, и, кроме того... – я чуть было не рассказала ей, что произошло между мною и миссис Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом.

– Значит, вы рады уехать от меня?

– Ничуть, Бесси; сейчас мне, пожалуй, даже грустно.

– «Сейчас»! Да еще «пожалуй»! Как спокойно моя барышня это говорит! А

если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали, вы не захотите? Вы скажете: «Пожалуй – нет»?!

– Я охотно поцелую вас, Бесси, наклоните голову.

Бесси наклонилась; мы обнялись, и я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни. Даже и мою жизнь озарял иногда луч солнца.

Глава V

В это утро, девятнадцатого января, едва пробило пять часов, Бесси вошла со свечой ко мне в комнату; она застала меня уже на ногах и почти одетой. Я поднялась за полчаса до ее прихода, умылась и стала одеваться при свете заходившей ущербной луны, лучи которой лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроватью. Мне предстояло отбыть из Гейтсхэда с дилижансом, проезжавшим мимо ворот в шесть часов утра. Встала пока только одна Бесси; она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Не многие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием; не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приводят, она завернула в бумагу несколько домашних печений и сунула их в мой саквояж, затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась в большой платок, и мы вдвоем вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни миссис Рид, она спросила:

– А вы не зайдете попрощаться с миссис?

– Нет, Бесси, когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни детей и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью.

– А вы что ответили, мисс?

– Ничего; я натянула одеяло и отвернулась к стене.

– Нехорошо вы сделали, мисс Джейн.

– Нет, хорошо, Бесси. Миссис Рид никогда не была мне другом, она всегда была моим врагом.

– О, перестаньте, мисс Джейн!

– Прощай, Гейтсхэд! – воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо.

Луна зашла, было очень темно; Бесси несла фонарь, его лучи скользнули по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро! Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли. Жена привратника еще только разводила в печке огонь, мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, стоял, перевязанный веревками, у двери. До шести оставалось всего несколько минут, затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к двери и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке.

– Она едет одна? – спросила жена привратника.

– Да.

– А далеко?

– За пятьдесят миль.

– Путь не близкий! Неужели миссис не побоялась отпустить ее одну так далеко?

Дилижанс подъехал. Вот он уже у ворот; он запряжен четверкой лошадей, на империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас; мой чемодан был погружен; меня оторвали от Бесси, к которой я прижалась, осыпая ее поцелуями.

– Смотрите, хорошенько берегите ее! – крикнула она кондуктору, когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс.

– Ладно, ладно! – последовал ответ; дверь захлопнулась, чей-то голос крикнул: «Трогай!» – и мы тронулись.

Так я рассталась с Бесси и Гейтсхэдом, так меня умчало в неведомые и, как мне тогда казалось, далекие и таинственные края.

Я мало что помню из этого путешествия; знаю только, что день казался неестественно долгим и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни

мил. Мы миновали несколько городов, а в одном, очень большом, дилижанс остановился; лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате; в обоих концах ее топились камины, с потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен, очень высоко, тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Я долго ходила взад и вперед по этой комнате, испытывая какое-то необъяснимое чувство: я смертельно боялась, что вот-вот кто-то войдет и похитит меня, – ибо я верила в существование похитителей детей, они слишком часто фигурировали в рассказах Бесси. Наконец кондуктор вернулся; меня еще раз сунули в дилижанс, мой ангел-хранитель уселся на свое место, затрубил в рожок, и мы покатали по мостовой города Л.

Сырой и туманный день клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы, должно быть, действительно далеко от Гейтсхеда: мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся; на горизонте вздымались высокие серые холмы. Но вот сумерки стали гуще, дилижанс спустился в долину, поросшую лесом, и когда вся окрестность потонула во мраке, я еще долго слышала, как ветер шумит в деревьях.

Убаюканная этим шумом, я наконец задремала. Я проспала недолго и проснулась оттого, что движение вдруг прекратилось; дверь дилижанса была открыта, возле нее стояла женщина – видимо, служанка. При свете фонарей я разглядела ее лицо и платье.

– Есть здесь девочка, которую зовут Джейн Эйр? – спросила она. Я ответила «да», меня вынесли из дилижанса, поставили наземь мой чемодан, и карета тут же отъехала.

Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг: дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различила перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь; в эту дверь мы и вошли с моей незнакомой спутницей, она закрыла ее за собой и заперла. Затем я увидела дом, или несколько домов, – строение оказалось очень длинным, со множеством окон, некоторые были освещены. Мы пошли по широкой, усыпанной галькой и залитой водой дороге и очутились перед входом. Моя спутница ввела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где и оставила одну.

Я стояла, согревая онемевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату; свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева; это была приемная – правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейтсхэде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась и вошла какая-то женщина со свечой; за ней следовала другая.

Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом; она куталась в большой платок и держалась строго и прямо.

– Девочка слишком мала для такого путешествия, – сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила: – Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала. Ты устала? – спросила она, положив мне руку на плечо.

– Немножко, сударыня.

– И голодна, конечно. Дайте ей поужинать, перед тем как она ляжет, мисс Миллер. Ты впервые рассталась со своими родителями, детка, чтобы поступить в школу?

Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой, и отослала меня с мисс Миллер.

Даме, с которой я рассталась, могло быть около тридцати лет; та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильное впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной; на лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот, а в походке и движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разнообразными и неотложными делами. Я сразу же решила, что это, должно быть, помощница учительницы; так оно впоследствии и оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию; наконец мы вышли из той части

дома, где царила глубокая, гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло по два больших сосновых стола, на них горело несколько свечей, а вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от девяти-десяти и до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше восьмидесяти. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий, и поразивший меня гул стоял в классной оттого, что воспитанницы заучивали вслух уроки.

Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей, затем, встав у порога комнаты, громко крикнула:

– Старшие, соберите учебники и положите их на место.

Четыре рослые девушки встали из-за своих столов и, обойдя остальных, стали собирать книги. Затем мисс Миллер отдала новое приказание:

– Старшие, принесите подносы с ужином.

Те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись, каждая несла поднос с порциями какого-то кушанья, посередине подноса стоял кувшин с водой и кружка.

Девочки передавали друг другу тарелки, а если кто хотел пить, то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась, – усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита; однако я разглядела, что это была нарезанная ломтями запеканка из овсяной крупы.

Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мною, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинна. Сегодня мне предстояло спать в одной кровати с мисс Миллер; она помогла мне раздеться. Когда я легла, я рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки; через десять минут единственная свеча была погашена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула.

Ночь промелькнула незаметно; я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоками дождь, и почувствовала, что мисс Миллер уже лежит рядом со мною. Когда я снова открыла глаза, до меня донесся громкий звон колокола; девочки уже встали и одевались; еще не рассвело, и в спальне горело две-три свечи. Я поднялась с неохотой; было ужасно холодно, у меня дрожали руки; я с трудом оделась, а затем и умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на шестерых полагался только один; тазы стояли на умывальниках посреди комнаты. Снова прозвонил колокол; все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодный, скупо освещенный класс; мисс Миллер опять прочла молитву.

– Стать по классам!

В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха; мисс Миллер то и дело повторяла: «Тише! Соблюдайте порядок!» Когда порядок был, наконец, водворен, я увидела, что девочки построились четыремя полукругиями перед четыремя столами; все держали в руках книги, а на каждом столе перед пустым стулом лежало по огромной книге вроде Библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов; мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину.

Вдали опять зазвенел колокол, и тут вошли три дамы; каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на четвертый стул у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки; в этот младший класс включили и меня и поставили в конце полукруга.

Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового Завета, затем отдельные главы из Библии, и это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый звонок прозвонил в четвертый раз; девочки построились и проследовали в другую комнату – завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть! Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела.

Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На двух длинных столах

стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим, к моему разочарованию, отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот:

– Какая гадость! Овсянка опять пригорела!

– Молчать! – раздался чей-то голос: это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц – маленькая смуглая особа, элегантно одетая, но несимпатичная; она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне; она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили и меня, а пожилая дама иностранного вида – преподавательница французского языка, как я потом узнала, – уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал. Затем служанка принесла чай для учительниц и трапеза началась.

Совершенно изголодавшаяся и обессиленная, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус, но едва первый острый голод был утолен, как я почувствовала, что ем ужасную мерзость: пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка; даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки; я видела, как девочки пробовали похлебку и делали попытки ее есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, чего не получили, и снова пропели хорал, затем направились из столовой в класс. Я выходила последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала; она переглянулась с остальными; на их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала:

– Вот гадость! Как не стыдно!

Уроки начались лишь через пятнадцать минут. В классе стоял оглушительный шум, – в это время, видимо, разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака, причем все бранили овсянку. Бедняжки! Это было их единственное утешение. Из учительниц в комнате

находилась только мисс Миллер; вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц, у них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Брокльхерста; в ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой, однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование: она, без сомнения, разделяла его.

Часы, висевшие в классной комнате, пробили девять; мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула:

– Тихо! По местам!

Привычка к дисциплине сразу же сказалась: не прошло и пяти минут, как среди воспитанниц воцарился порядок и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места; однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, восемьдесят девочек сидели неподвижно, выпрямившись; странное это было зрелище: все с зачесанными назад, прилизанными волосами, ни одного завитка; все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками (напоминающими сумки шотландских горцев), висящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие; в дополнение ко всему этому – шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками. Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до двадцати взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким.

Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась; в полной было что-то грубоватое, чернявая казалась весьма сердитой особой, иностранка – несдержанной и резкой, а мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щечками, производила впечатление существа совершенно задержанного. И вдруг, в то время как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружиной, поднялись как один человек.

Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказания и потому недоумевала. Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела

туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина, – оба камина сейчас топились, – спокойно и серьезно оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами. Мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила; получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала:

– Старшая из первого класса, принесите глобусы.

Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь, при ярком дневном свете, я увидела, что она высока, стройна и красива; карие глаза с тонкой каймою длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба; тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками; платье, тоже по моде того времени, было суконное лиловое, с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы. (Часы тогда еще не были так распространены, как теперь.) Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движения, полные достоинства, и вы получите, насколько его можно передать словами, точный портрет мисс Темплъ – Марии Темплъ, как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь.

Директриса Ловуда (ибо таково было звание этой дамы), сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии; остальные классы собрались вокруг других учительниц; последовали занятия по истории, грамматике и так далее; затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темплъ занималась с некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам, и когда, наконец, пробило двенадцать, мисс Темплъ поднялась.

– Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов, – заявила она.

При звуках ее голоса поднявшийся было после уроков шум сейчас же стих. Она продолжала:

– Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверно, голодны. Я распорядилась, чтобы всем вам дали хлеба с сыром.

Учительницы удивленно взглянули на нее.

– Я беру это на свою ответственность, – добавила она в виде объяснения и тотчас вышла из класса.

Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы, и все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание: «В сад!» Каждая ученица надела шляпку из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризový плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух.

Сад был обнесен настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее; с одной стороны тянулась веранда; середину сада, поделенную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц, которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, эти клумбочки были, вероятно, очень красивы, но сейчас, в конце января, на всем лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке; правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой желтый туман, а под ногами все еще хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, но бледные и слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды; и когда мглистая сырость начала пробираться их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель.

Пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания; я стояла одна в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутны и отрывочны; я еще не осознала, где нахожусь. Гейтсхэд и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в неизмеримую даль; настоящее было неопределенно и туманно, а картину будущего я и вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одряхлевшей и ветхой, другая – совершенно новой. В этой новой части, где находились классная и дортуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви; на каменной

доске над входом я прочла надпись: «Ловудский приют. Эта часть здания восстановлена в таком-то году миссис Наоми Брокльхерст из Брокльхерст-холла, графство такое-то». «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли отца вашего небесного (Ев. от Матфея, глава V, стих 16)».

Я перечитывала эти слова все вновь и вновь, чувствуя, что не в силах понять их смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаюсь найти связь между начальными словами надписи и стихом из Священного Писания, когда кашель за моей спиной заставил меня обернуться. Поблизости, на каменной скамье, сидела девочка; она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги – «Расселас»[\[4\]](#), показавшееся мне странным и оттого более завлекательным. Перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила:

– Интересная книжка?

Я уже решила попросить ее дать мне почитать эту книгу.

– Мне нравится, – ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня.

– А о чем там написано? – продолжала я.

Не знаю, каким образом у меня хватило смелости заговорить первой с совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе и моим привычкам. Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну: ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски, – серьезное и сложное я плохо усваивала и плохо понимала.

– Если хочешь, посмотри, – сказала девочка, протягивая мне книгу.

Я так и сделала; полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие. Книга, на мой детский вкус, показалась мне скучной, там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убогистого текста не сулили ничего занимательного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уж намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней.

- Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом, что такое «Ловудский приют»?
- Это та самая школа, где ты будешь учиться.
- Отчего она называется «приютом»? Разве она отличается от других школ?
- Это вроде убежища для бедных сирот: и ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота? У тебя умерли отец и мать?
- Оба умерли давно.
- Так вот, здесь у каждой девочки умер отец или мать, а некоторые совсем не помнят ни отца, ни матери. Это приют, где воспитываются сироты.
- Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром?
- Наши друзья или близкие платят за нас пятнадцать фунтов в год.
- А отчего же ты говоришь «из милости»?
- Оттого, что пятнадцать фунтов – это очень мало за обучение и содержание; недостающую сумму собирают подпиской.
- А кто же дает деньги?
- Разные добрые леди и джентльмены – здесь, в окрестностях, и в Лондоне.
- Кто это Наоми Брокльхерст?
- Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске; ее сын здесь всем управляет.
- Почему?
- Потому что он казначей и директор.
- Значит, этот дом принадлежит не той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр?
- Мисс Темпл? О нет! Если бы он принадлежал ей! А так она должна за

каждый свой шаг отвечать перед мистером Брокльхерстом. Мистер Брокльхерст сам покупает нам провизию и одежду.

– Он тоже живет здесь?

– Нет, в двух милях отсюда, в большом доме.

– Он хороший человек?

– Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра.

– Так высокую даму зовут мисс Темпл?

– Да.

– А как зовут других учительниц?

– Ту, с румяными щеками, зовут мисс Смит; она учит нас рукоделию и кройке, – ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное; низенькая брюнетка – это мисс Скетчерд, она преподает историю, грамматику и репетирует второй класс; а та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте, – мадам Пьеро, она из Лилля, из Франции, и преподает французский язык.

– А тебе нравятся эти учительницы?

– Да, ничего.

– Тебе нравится маленькая черная и эта мадам?.. Я не могу произнести ее фамилию правильно, как ты.

– Мисс Скетчерд очень вспыльчивая, – смотри, не раздражай ее; мадам Пьеро в общем неплохая...

– Но мисс Темпл лучше всех, правда?

– Мисс Темпл очень добра и очень умна; она на голову выше остальных, она гораздо образованнее их.

– Ты здесь давно?

- Два года.
- Ты сирота?
- У меня умерла мать.
- А тебе хорошо здесь?
- Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно, теперь я хочу почитать.

Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогорклого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя: неужели нас будут так кормить каждый день?

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)